

**Наталья Александровна Рогачева**

**НА КРАЮ ОЙКУМЕНИ:  
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**



*Статья посвящена исследованию проблемы возникновения и функционирования инвариантных сюжетных моделей локального текста, который сформировался вокруг региона, изначально мыслимого как «край ойкумены».*

Сибирь издавна была объектом мифологизации в произведениях словесного искусства, что связано в первую очередь с ее географическим положением — близостью к краю ойкумены. Традиция определять сибирский локус категориями «несуществования» начинается еще с античности. В «Истории» Геродота о северо-восточных странах говорится как о мире, в котором «ничего нет»: «Выше их лежит страна большею частью безлюдная, за коею живут андрофаги, народ особый, отнюдь не скифский. Выше же их безлюдье уже совершенное, и нет никакого народа, сколько нам известно...» [Геродот 1976: 111]. Как видно, мифологизация охватывает далеко не весь край, а лишь то узкое пространство, которое закреплено вокруг его границы, отделяющей и в то же время соединяющей неведомые земли со всем обжитым миром. Литература о Сибири концентрируется вокруг пути вторжения «своего» в область «чужого». Известно, что именно на этом рубеже освоенного и неосвоенного пространства обычно помещаются всякого рода фантастические существа, совершаются невероятные события. По словам Ю. М. Лотмана, «всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»)). Как это бинарное разбиение интерпретируется — зависит от типологии культуры. Однако само такое разбиение принадлежит к универсалиям. Граница может отделять живых от мертвых, оседлых от кочевых, город от степи, иметь государственный, национальный или какой-либо иной характер» [Лотман 1999: 175].

Как подчеркивает один из современных исследователей древнерусской литературы, «мифологизация происходящего на краю ойкумены с самых давних пор носила двойной характер». С одной стороны, такого рода земли считались неблагоприятными, но, с другой, — они же часто оказывались эквивалентом земного рая [Водолазкин 1998: 144-145].

Восток и Сибирь — Восточная сторона — устойчивый и к тому же один из самых ранних символов пограничного, рубежного пространства России, известный еще по летописи XII в.: «Югра же — это люди, говорящие на непонятном языке и соседят они с Самоядью в северных краях. ... Югра же сказала: ... есть горы ... и в горах тех стоит крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечься из нее ... и оттуда говорят, и не понять языка их...» [Повесть временных лет 1950: 369]. «Повесть о человецах незнаемых...» XV в. закрепила эту традицию, населив Сибирь «дивными людьми»: В той же стране иная самоедь такова же. Линная слывет. Лете месяц живут в мори, а на суше не живут того ради, занеже тело на них трескается...

В той же стране есть иная самоедь. Вверху рты на темени, а не говорят. А образ в пошлину человекъ ... По зими умирают на два месяца. Умирают же тако: как где которого застанет в те месяцы, тот тут и сядет...

В той же стране иная самоедь. По обычаю человецы, но без глав. Рты у них промеж плечми, а очи в грудях..

В восточной же стране есть иная самоедь каменная, отлежит около Югорской земли. А живут по горам высоким, а ездят на оленях и на собаках, а платье носят соболие и оленье, а едят мясо оленье, да и собачину, и бобровину едят, а кровь пьют человеческую и всякую... » [Анучин 1997: 269-270].

В обоих памятниках описание «дивных людей» подчеркивает их явную «нечеловечность»: отсутствие языка, точнее, внятной речи, звериность облика, сезонный сон, подчинение жизненного строя природному ритму, уродство, коим обычно бывает отмечена всякая «нежить».

Очевидно, что с развитием колонизации Сибири русскими эта традиция должна сойти на нет, так как Западная Сибирь из пограничного пространства переместилась едва ли не в центр России. Однако парадоксальным образом край так и не избавился от «мифологичности» и надолго — во всяком случае до начала XX в. — остался в русской литературе локусом, в котором концентрируются всякого рода «невероятности». Григорий Новицкий, путешествуя по Сибири в начале XVIII в. и будучи «самовидцем» всех сибирских реалий, пользуется в их описании формулами древних авторов: «Прость и дивый народь сей вящше нравообычаем своим звероподобенъ, чуждается, отбегаеть всякого обхождения съ иными гражданы, обикль вящше въ пустынныхъ обитати местахъ» [Новицкий 1999: 31]. В «полуночных» странах путешественник нашел людей, погруженных в «безумия бездну», «зловерие» и «самую крайнюю мерзость запустения», «скудных и нищетою отвсюду одержимых», удивляющих необычным «для разумной твари в болезни так жестокой о себе нерадением». Остяцкий народ, хотя и говорит на своем языке, но все равно кажется немым, поскольку остяки «писмен никаких не имеют» и оставляют детей безымянными. Участник Второй Академической экспедиции Василий Зуев в научном труде спустя полвека развертывает те же «общие

**Елена Сергеевна  
КОНДРАТЕНКО,**  
выпускница 1999г.  
Сейчас — редактор газеты  
«Тюменский эфир».

Думаю, мы берем от филфака значительно больше, чем он может дать. Если хотим. И если взять можем. Зависит это не от него, а от каждого из нас. Филолог — не профессия. Это — склад ума. Можно таким быть или не быть. Научить — вряд ли. Иметь или не иметь природное, стихийно-хтоническое чувство Слова, языка, композиции, интонации — это не талант, не дар — свойство природы.

Филфак дает не вполне стандартные возможности для самоопределения, саморефлексии и целый спектр самоощущений при аналитическом складе ума. Примеров — тьма. Музыканты, художники, компьютерщики, продвинутые товароведы, менеджеры-риэлтеры, переводчики-гиды, журналисты, талантливейшие дворники, священники и философы, литераторы и бомжи! Все пьют, но никто не продается и не покупается.

Сегодня весь молодой подраздел «Регион-Тюмени», «ТРТР», «Лады», «Паралакса», всяческих самостоятельных радиостанций, а также всех уважающих себя газет укомплектован нами — филфаковскими птенчиками. Вы знаете, что это значит и чем пахнет?! В наших руках вся четвертая власть города и богатейшего края, наибольшей области России.

Все мы живем «здесь и сейчас», но у всех нас есть какая-то невидимая глазу нематериальная внутренняя раскрепощенность. Мы будто причастны к наследию,

к культуре вне времени и границ, мы умеем чуть-чуть отойти от навязчивой мелочной сиюминутности и своей для себя значимости, посмотреть на прошедшие и будущие века, чтобы понять, что земля плавно перетекает в небо, а время — в пространство... и вспомнить, что все во Вселенной — относительно, полицентрично и гетерогенно. Что касается века XXI, если ты вообще думаешь, стоит или не стоит поступать на филфак, то не стоит. В XXI веке, как и в любое другое время, надо быть, в конце концов, человеком, осознающим свою априорную и непреходящую со всей живущей и дышащей огромной Вселенной связь.



места» описаний Сибири: «Самоедская земля, последняя часть к северу, сколь дикая в своем звании, столь равным образом и дикими народами обитаема» [Зуев 1999: 140].

О подобных *loci communes* с иронией отзывался П. А. Словцов в «Письмах из Сибири 1826 года»: «Ни о слоновой кости, ни о кедрах или кедровых шишках, ни о черной белке, ни о соболях с реки Олекмы, Витима или Тунгуски, ни даже о вилюитах и мареканитах вы не услышите ничего» [Словцов 1999: 10]. Но литература о Сибири, освобождаясь от явной фантастичности, все же сохранила связь с мифом, присутствие которого полнее всего обнаруживается в сюжетостроении.

Одним из наиболее разработанных русскими писателями «сибирских» сюжетов является сюжет о богатстве, честным трудом нажитом в Сибири, причем пишущий нисколько не сомневается, что в «нормальной», «обычной»

России ничего подобного происходить не может (или — во всяком случае — не должно). В знаменитой комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» идеальный герой Стародум, убедившись, что ни военная, ни придворная служба не принесут ему достойных наград, отправляется в Сибирь, «где достают деньги, не променявая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей, лицепрятая не знает, а платит одни труды верно и щедро» [Фонвизин 1983: 102]. С той же целью направляется в Сибирь герой романа Н. А. Некрасова «Три страны света» Каютин. И он находит край, где «чудные истории», «подвиги», «такие дела делаются и забываются, как самые обыкновенные вещи; никто им не удивляется; никто не говорит о них» [Некрасов 1984: 219]. Богатство Сибири не просто манит, оно дается в руки, как чудесный клад, не требуя взамен нравственной жертвы. Именно сибирский купец Н. М. Чукмалдин получил звание «праведника», «создавшего себе положение и богатство кристально чистым путем» [Шарапов 1997: 119]. Автор статьи о Чукмалдине принципиально не замечает, что «Мои воспоминания», предисловие к которым он и составляет, вступают в противоречие с этими превосходными оценками. Ожидание сибирского «чуда» и готовность безоговорочно поверить в него опираются на значительную традицию и берут начало в истории «дорусской Сибири», в слухах «о стране, текущей медом и млеком», и достоверных известиях о молниеносном обогащении смельчаков [Буцинский 1999: 6].

На безграничных просторах «богатой Сибири» без труда умещаются легендарные, а позднее научно-фантастические утопии — будь то пришвинское Беловодье или обручевская «Земля Санникова». Их важнейший географический признак — отсутствие пути, труднодоступность, обеспечивающая замкнутость топоса и его неприкосновенность. В литературе конца XIX века, как и в ранних произведениях о Сибири, возникает образ земли, не тронутой цивилизацией, где «хлеба невпроворот. Птица там всякая, скотина. Потому с согласу все у них.

Работают сообща, семейственно. Старик, как бы отец, правит». И лежит этот край, конечно, «за семью озерами, за туманами вечных топей, в глуши изумрудной кедровой тайги, девственной и чистой» [Мачтет 1998; 135-136].

Утопизм характеризует не только художественную словесность, но и документальную прозу о Сибири. В широко известном «Описании Западной Сибири» Ипполита Завалишина преобладает все та же превосходная, на грани фантастического степень оценки: «Хлебопашество в громадных размерах, богатейшее скотоводство, обильнейшие рыбные ловли, неистощимые запасы поваренной соли... Строевыми лесами, роскошной растительностию, нежными плодами юга и пышными коврами цветов богаты многие другие края нашей обширной России; но нигде в ней нет такого обилия золота, серебра, драгоценных камней, соболя, бобра, чернобурой лисицы, — всего, что составляет высшую ценность в наше время» [Завалишин 1862: 9-10, 41-42]. Все — чрезвычайно, все — из ряда вон, все — гипербола — от природных даров до купеческих состояний. И отметим в повествовании Завалишина другой признак утопии — постоянное напоминание, что в Сибири дороги плохи, а часто их нет вообще, грязь на улицах сибирских городов такая, что даже бочку с водой запрягают парой.

При этом утопизм отнюдь не вступает в противоречие с другим существенным признаком сибирского пространства — его катастрофичностью, прочно закрепившейся в фольклорном сознании и литературных текстах. «Чахотка и Сибирь» — синонимы, причем объединенные градацией — чахотка лишь подступ к настоящей беде — сибирской каторге, первый шаг к Мертвому Дому. В литературе «нечеловечность» сибирского мира получила яркую художественную аргументацию. «Монстры-мученики», претерпевшие сверхъестественные страдания, стали героями автобиографической и очерковой прозы Достоевского, Короленко, Михайлова, Гейнце... Место чудовищ, заросших волосами, одноглазых андрофагов заняли безумцы, колодники, родства не помнящие, и весь этот фантастический люд растекся по сибирским тюрьмам и каторгам. Характерный пример — «Аграфена» М. Л. Михайлова: «Она не кричала, не стонала. Рядом с ней лежал ребенок лет десяти с раздробленной головой и, по-видимому, уже умерший и обрызганное кровью и мозгом длинное полено». Героиня очерка — убийца, дело которой «необыкновенно» даже для края, привычного «ко всякого рода уголовщине».

Заметим, что в большинстве случаев мы имеем дело не с художественным, условным сюжетом. Преступление в крае, предназначенном для ссылки, отнюдь не является событием. По словам Н. М. Ядринцева, «Сибирь ... похожа на постоянное поле битвы, где оставшиеся в живых весьма мало говорят об убитых. При темноте и невежестве сибирской массы населения, общество долго не замечало окружающих явлений, оно не жаловалось на ссылку и совершенно сжилось со своим положением» [Ядринцев 1882: 205].

Характерно, что хроника о найденных мертвых телах, пойманных бродягах, убийствах и самоубийствах, составляющая один из наиболее обширных разделов газеты «Тобольские губернские ведомости», на протяжении 1860-х гг. ни разу не квалифицировалась как «известие», заслуживающее общественного внимания. Лишь с возникновением контрастного «фона» статус хроники изменился: в течение нескольких недель, когда газета сообщала о посещении Сибири цесаревичем Владимиром Александровичем в 1868 г., на ее страницах не было ни одного упоминания об уголовных происшествиях. Исключительное событие изменило весь строй жизни, чудесно преобразив ее хотя бы в газетном повествовании. Но отъезд Великого Князя уже служит сигналом возвращения «нормального» течения жизни со всей полнотой ее преступности. Сибирский топос, говоря словами Ю. М. Лотмана, неизменно остается «кладовой эксцессов», принимаемых в условиях нечеловеческого мира за норму.

Сибирь порождает мифических героев. Одним из последних в их ряду стал Распутин, литературный образ которого неизменно конституировался в области запретного, невозможного, этически недопустимого для человеческой, православной культуры:

*Как на земле непаханной  
На речке на Туре  
Монашки-то с монахами  
В одном монастыре  
Спасались. Не курицу —  
Лис, девку подстерег  
Монах. Покровско-Тушинский  
Поднесь монастырек  
Стоит.*

[Цветаева 1997: 185].

Демифологизация образа Сибири началась с вытеснения ее «докультурных» мифов мифами, освященными культурной традицией. В Сибирских летописях место «дивных людей» заняли библейские персонажи: от Сима началась вся Азия, а с нею и Сибирская сторона. Явление чудотворной иконы преобразило татарское поселение Абалак в святую христианскую землю. О чудесах, сопровождавших крещение инородцев митрополитом Филофеем, сохранились вполне достоверные сведения.

Русские герои, начиная с Ермака, как и в любом эпосе, выполнили важнейшую функцию сакрализации земли, дав ей имена, могилы, став родоначальниками новых городов, возведенных взамен разрушенных «чужих» поселений. Показателен, к примеру, процесс превращения Тюмени из великой татарской столицы Чингидина в заштатный уездный русский город.

Ключевую роль в этом процессе демифологизации образа Сибири сыграли ученые — географы, историки, этнографы, наложив на пространство классификационные схемы, сетки, введя данные о ней в таблицы и графики.

Край избавлялся от фантастичности, но все же шлейф «некультурности», или «докультурности», тянется за ним через весь XIX век, он по-прежнему остается окраиной цивилизации.

Одним из важнейших показателей «пограничности» сибирского локуса является событийность, точнее, представление о том, что можно квалифицировать как событие. В одном из номеров газеты «Тобольские губернские ведомости» редактор И. Юшков, открывая рубрику «Местные известия», заметил, что, в отличие от России, Сибирь событиями бедна, здесь вообще ничего не происходит — ни войн, ни восстаний, даже стихийные бедствия обходят ее стороной. Эта мысль повторяется неоднократно: «Общественная жизнь Тобольска, как обыкновенно, весьма скудна явлениями, на которых можно бы остановиться» [Тобольские губернские ведомости 1865]; «Провинциальная жизнь так нехитро складывается, новости, интересующие провинциальное общество, так редки, что к числу самых обыкновенных и наиболее занимающих общество разговоров, относится разговор о погоде» [Тобольские губернские ведомости 1865]. Здесь событием становится то, что для России — норма, правило. К примеру, музыкальный вечер — первый в Тобольске, первый в Тюмени, Ишиме, Березове..., открытие народных училищ, гимназий для девочек. Создание первой в Тюмени библиотеки, книги для которой некуда передать, обернулось настоящим скандалом. Но все же это факты, которые свидетельствуют о превращении Сибири из terra incognita в обжитой, цивилизованный край, придают ему статус «своего», по-человечески устроенного мира.

Пограничность, окраинность, будучи сущностной чертой образа Сибири, из сферы фантастического, сверхъестественного переместилась в область этического. Лишаясь со временем чудесных свойств, Сибирь так и осталась краем «ди-

ким» даже с точки зрения людей, ее населяющих, но это «дикость» морального порядка, край нравственной нормы и беззакония, рубеж гуманистической культуры.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Анучин Д. Н. Слухи и вести о Сибири до Ермака // Цит. по: Лукоморье: Литературная хрестоматия. Тюмень, 1997. С. 269–270.
2. Бушинский П. Н. Мангазея и Мангазейский уезд // Бушинский П. Н. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. Тюмень, 1999. С. 5–78.
3. Водолазкин Е. Г. О «людяхъ дивныхъ» древнерусских хронографов // Русская литература. 1998. № 3. С. 131–147.
4. Геродот. История // Историки Греции. М., 1976. С. 27–165.
5. Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1862.
6. Зуев В. Ф. Описание живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде инноверческих народов остяков и самоедцов, сочиненное студентом Васильем Зуевым // Путешествия по Обскому Северу. Тюмень, 1999. С. 137–223.
7. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999.
8. Мачтет Г. А. Мы победили // Страна без границ. Тюмень, 1998. Т. 1. С. 133–151.
9. Некрасов Н. А. Три страны света // Полн. собр. соч.: В 15 т. Л., 1984. Т. 9. Кн. 2.
10. Новицкий Г. Краткое описание о народе остячком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 году // Путешествия по Обскому Северу. Тюмень, 1999. С. 13–135.
11. Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. М.; Л., 1950. Ч. 1.
12. Словоцов П. А. Письма из Сибири 1826 года // Словоцов П. А. Письма из Сибири. Тюмень, 1999. С. 5–64.
13. Тобольские губернские ведомости. 1865. № 1. 2 января.
14. Тобольские губернские ведомости. 1865. № 10. 6 марта.
15. Цветаева М. И. Сибирь // Собр. соч.: В 7 т. М., 1997. Т. 3. Кн. 1. С. 185–188.
16. Шарапов С. Памяти Н. М. Чукмалдина // Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания. Тюмень, 1997. С. 119–126.
17. Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. СПб., 1882.

**Людмила Ильинична Крекнина**  
**РУССКИЙ «КАРБОНАРИЙ»**  
**В. А. ПОДЖИО**  
**В ПЕРИОД СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ**  
**1840–1850-х ГОДОВ**



**С**татья посвящена опальному декабристу А. В. Поджио, жизнь и творчество которого рассматриваются в историко-культурном контексте эпохи.

В многочисленной научной и научно-популярной литературе о декабризме имя В. А. Поджио не забыто, а благодаря иркутским ученым Н. П. Матхановой, С. В. Житомирской, И. Д. Ковальченко, М. Д. Сергееву и др. [Поджио 1989:2] в 1989 году вышло однотомное собрание его записок и писем (главный источник данной статьи). Поджио не был профессиональным писателем, как многие декабристы, и не оставил глубокого следа в литературе, но его «история» является частью «апологетической романтической легенды» о декабристах, созданной Н. А. Бестужевым о К. Ф. Рылееве и развитой в работах А. И. Герцена, Н. П. Огарева [Архипова 1987:4]. Действительно, Герцен, вспоминая о встрече с Поджио в Лондоне, называет его и С. Г. Волконского «титанами» [Герцен 1965:9].

Предлагаемая статья не ставит целью развенчание этой легенды, ибо была и другая — критически уничижительная в «Записках» Н. И. Греча. И обе они —